



В Юлию Друнину вселилась стихия-война, при этом – по-прежнему нежная стихия. Такая же нежная, какой она жила в Есенине и Фете, в Тютчеве и Бунине. Стихия, желающая и в войну оставаться нежной, и в хаосе не потерять гармонию как целомудрие, воплотилась в Друниной.

В Друниной стихия была – не вернувшейся с войны. «Догола здесь ветер горы вылизал, Подступает к морю невысокий кряж. До сих пор отстрелянными гильзами Мрачно звякает забытый пляж. В орудийном грохоте прибоя Человек со шрамом у виска Снова, снова слышит голос боя, К ржавым гильзам тянется рука».

Друнина смиренно несла свою судьбу поэта войны. «Я не привыкла, Чтоб меня жалели, Я тем гордилась, что среди огня Мужчины в окровавленных шинелях На помощь звали девушку – Меня...». Друниной не нужна была бы жалость Фета, от которого стихии было необходимо созерцание: «В дымных тучках пурпур розы, Отблеск янтаря...».

Друнина смирилась с войной – как с даром Божьим: «Все грущу о шинели, Вижу дымные сны, – Нет, меня не сумели Возвратить из Войны. Дни летят, словно пули, Как снаряды – года... До сих пор не вернули, Не вернут никогда. И куда же мне деться? Друг убит на войне. А замолкшее сердце Стало биться во мне».

Будто и весь существующий мир так и находился на вселенской войне, потому и грохот прибоя – орудийный, и в этом прибое человек слышит – голос боя. Голос одушевленного и мыслящего боя.

Будто и природа оставалась на вечной битве добра и зла. И все сущее находилось на этой войне, все сущее было в окровавленной шинели, которую никогда не снимала и

сама Друнина. «Я принесла домой с фронтов России Веселое презрение к тряпью – Как норковую шубку, я носила Шинельку обгоревшую свою. Пусть на локтях топорщились заплаты, Пусть сапоги протерлись – не беда! Такой нарядной и такой богатой Я позже не бывала никогда...».

И кто мог спасти стихию на войне? Стихии от поэта не спасение нужно, а созерцание. У стихии, как и у поэта, своя судьба, своя предначертанность. Стихия в поэте отражает свой образ, потому что только в отраженном поэтом образе природа может существовать как живая и мыслящая.

Поэт слышит «голос боя». Слышит этот голос не только «в орудийном грохоте прибоя», но, должно быть, и в шелесте листьев, и в грохоте грозы, и в окровавленной тишине заката.

Эволюции необходимы – и поэт войны, и поэт мира; нужны и Друнина, и Фет. Война и мир одновременно совершались в поэзии, одновременно происходили в стихах поэтов и самой стихии. Потому – «До сих пор отстрелянными гильзами Мрачно звякает забытый пляж». Стихия одновременно слушает и поэзию мира, и поэзию войны; одинаково верит Друниной и Фету, Бунину и Багрицкому. На стихотворение Друниной – как на искусное щебетание птицелова из стихотворения Багрицкого – откликнулась птица-война. И во время мира откликнулась из истории, пела и рыдала вместе с Друниной, но миру был чужд диалог поэта и войны, однако милый сердцу Бога.

Будто стихия, любя поэта Друнину, благодарная ей за смирение перед судьбой поэта, только ради нее остается раненой солдаткой; остается Зинкой. И это не только о Зинке, но и о стихии на войне сказала Друнина: «Ее тело своей шинелью Укрывала я, зубы сжав...».

Друнина уже не умеет видеть другой мир. «Я столько раз видала рукопашный, Раз наяву. И тысячу – во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне».

И мир любит поэта, вымолившего любовь Бога стихами. Потому и остается так всегда для Друниной: «В орудийном грохоте прибоя Человек со шрамом у виска Снова, снова слышит голос боя, К ржавым гильзам тянется рука».

Бытию и в этом образе необходимо выживать. Оно и выживает только в метафоре, как и поэт выживает только в стихии. Друнина – богоизбранный поэт. Стихии, которой необходимо, чтобы война продолжалась, нужно оставаться солдаткой. При этом стихии необходимо совместить войну и цветок, «орудийный грохот прибоя» и покой бабочки, уснувшей на цветке. Друнина и совмещает несовместимое. Совмещение несовместимого и есть бытие стихии, которой необходима война так же, как и мир, чтобы не был достигнут предел совершенства. Слышать Друнину и Фета одновременно, чтобы знать: несовместимое совмещается.

Поэзия мира и поэзия войны одновременно свидетельствуют о бытии стихии; одновременно сообщают ей о том, что она выжила и что она – бессмертна.

Друнина была цветком, выросшим на поле, где проходил рукопашный бой. Это был цветок, который пощадила и даже полюбила война. Война берегла, как могла, Друнину. От крови и военного зарева был красен и красив этот неповторимый цветок – нежность войны. Но цветок оказался чуждым миру. «Я порою себя ощущаю связанной Между теми, кто жив И кто отнят войной... Я – связанная. Бреду в партизанском лесу, От живых Донесенье погибшим несу». Миру не был нужен связанной с войной; мир с войной не мог иметь ничего общего; мир с войной не мог признать никакого родства. И Друнина

покинула мир, отвергший ее честную и целомудренную войну: «Почему ухожу? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому несовершенному существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл...».

Стихия верит поэтам. Потому она одновременно гибнет в бою и остается бессмертной; потому она одинаково откровенна и с Фетом, и с Друниной. Друнина тоже слышала бессмертные стихи – в степи: «Гладит голые плечи Суховой горячо. Ошалевший кузнечик Мне взлетел на плечо. Я боюсь шевельнуться, Я доверьем горда. Степь – как медное блюдце. Что блеснуло? Вода! Ручеек неказистый, Но вода в нем сладка... Что мелькнуло как искра – Неужели строка?..».

Строка. А может, след летящей пули...

Камиль Тангалычев